

Что нравилось Ильичу из художественной литературы

На днях выходит в свет книга «Воспоминания о В. И. Ленине». В нее вошли воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой, Д. И. Ульянова и М. И. Ульяновой, Н. К. Крупской. Сборник, подготовленный Р. Савицкой, выходит в издании Госполитиздата. Ниже мы публикуем отрывок из воспоминаний Н. К. Крупской о В. И. Ленине.

Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич — человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п., такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это неинтересно нисколько.

Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки людей, наблюдала его пристальное вглядывание в жизнь, в людей, и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки книг, говоривших о том, чем живы люди.

Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то поговорить на эту тему. Потом уж, в Сибири, узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на малохудожественную наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя: одна, написанная рукой Ильича, —

«СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА»

2 стр.

7 апреля 1955 г.

год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских — Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помните, в Сибири был также «Фауст» Гете на немецком языке и томик стихов Гейне.

Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз в театр, смотрел «Извозчик Геншель», потом говорил, что ему очень понравилось.

В Мюнхене из книг, нравившихся Ильичу, помню роман Гергарда «Bei Mama» («У мамы») и «Büttnerbauer» («Крестьянин») Поленца.

Потом, позже, во вторую эмиграцию, в Париже, Ильич охотно читал стихи Виктора Гюго «Châtiments», посвященные революции 48 года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции. Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице, и т. п. Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях — всегда с ярко бытовой окраской, не было определений какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17-му полку, отказавшемуся стрелять в стачечников: «Salut, salut à vous, soldats du 17-me» («Привет, привет вам, солдаты 17-го полка»). Однажды на русской вечеринке Ильич разговаривал с Монтегюсом, и странно, эти столь разные люди — Монтегюс, когда потом разразилась война, ушел

в лагерь повинников — размечтались о мировой революции. Так бывает иногда — встретятся в вагоне малознакомые люди и под стук колес вагона разговариваются о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда в другое время, потом разойдутся и никогда больше в жизни не встретятся. Так и тут было. К тому же разговор шел на французском языке, — на чужом языке мечтать вслух легче, чем на родном. К нам приходила на пару часов французская уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песню. Это эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова и потом нередко пел сам ее. Кончалась она словами:

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine.
Mais malgré vous nous resterons français,
Vous avez pu germaniser nos plaines,
Mais notre cœur — vous ne l'aurez jamais!

«Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но вопреки вам мы остаемся французами; вы могли онемечить наши поля, но наше сердце — вы никогда не будете его иметь!»).

Был это 1909 г. — время реакции, партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали в его устах слова песни:

Mais notre cœur — vous ne l'aurez jamais!

В эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой (уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только тогда уехали из Женевы в Париж?»), в эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал, мечтал, разговаривал с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном.

Потом позже, во время войны, Владимир Ильич увлеклся книжкой Барбюса «Le feu» («Огонь»), придавая ей громадное значение. Эта книжка была так созвучна с его тогдашним настроением.

Мы редко ходили в театр. Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, — зря деньги переводим.

Но раз Ильич досидел до конца; это было, кажется, в конце 1915 г.; в Берне ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп».

Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой.

И, наконец, в России. Новое искусство казалось Ильичу чужим, непонятным. Однажды нас позвали в Кремле на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Гзовская декламировала Маяковского: «Наш бог — бог, сердце — наш барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облетченно вздохнул, когда Гзовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышленника» Чехова.

Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке Варе Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 г. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа», с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны вхутемасовец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хотя и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» — «О нет, — выпалил кто-то, — он был ведь буржуа. Мы — Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, — Пушкин лучше». После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм. Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну: «Это знаешь, — Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло».

Ходили мы несколько раз в Художественный театр. Раз ходили смотреть «Потоп». Ильичу ужасно понравилось. Захотел идти на другой же день опять в театр. Шло Горького «На дне». Алексея Максимовича

Ильич любил как человека, к которому почувствовал близость на Лондонском съезде, любил как художника, считал, что как художник Горький многое может понять с полуслова. С Горьким говорил особенно требовательно. Излишняя театральность постановки раздражала Ильича. После «На дне» он надолго бросил ходить в театр. Ходили мы с ним как-то еще на «Дядю Ваню» Чехова. Ему понравилось. И, наконец, последний раз ходили в театр уже в 1922 г. смотреть «Сверчка на печи» Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого итрушечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с середины действия.

Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои университеты» Горького. Кроме того, он любил слушать стихи, особенно Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические стихи Демьяна, а пафосные.

Читалась ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами».

Читалась, точно клятву Ильичу повторять, — никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции...

За два дня до его смерти читала я ему вечером рассказ Джека Лондона — он и сейчас лежит на столе в его комнате — «Любовь к жизни». Сильная очень вещь. Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду большой человек. Слабеет у него силы, он не идет, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода волк, идет между ними борьба, человек побеждает, — полумертвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше. Но у Джека Лондона сильные вещи перемешиваются с чрезвычайно слабыми. Следующий рассказ попал совершенно другого типа — пропитанный буржуазной моралью: какой-то капитан обещал владельцу корабля, нагруженного хлебом, выгодно сбыть его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засмеялся Ильич и махнул рукой.

Больше не пришлось мне ему читать...